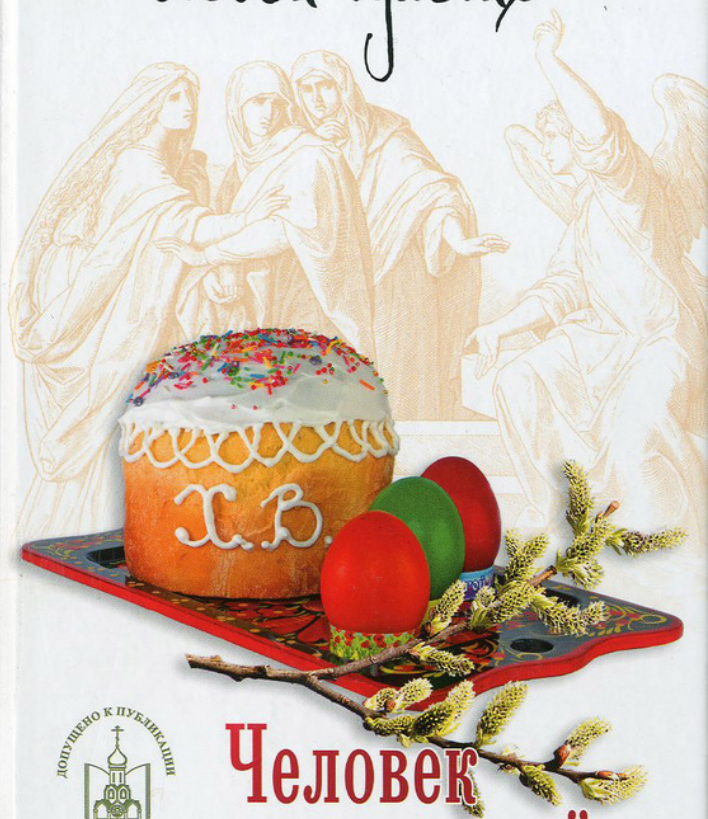


Ольга Рубиха



ДОПУЩЕНО К ПУБЛИКАЦИИ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Человек
радостный

Ольга Румбах

Человек радостный (сборник)

текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=29414640

Ольга Румбах. Человек радостный: Лепта Книга, Вече, ГрифЪ; Москва;

2017

ISBN 978-5-91133-523-4, 978-5-905889-98-1, 978-5-4444-6263-8

Аннотация

Главным своим авторским «недостатком» православная писательница Ольга Румбах считает неумение выдумывать. Так что все ее герои, которые плачут, смеются, страдают и устраивают свои жизни на страницах ее книг, – существуют в действительности, и потому особенно близки нам, читателям. А сами рассказы о них написаны талантливо и легко, поэтому обязательно полюбятся читателю.

Содержание

Старики	5
Вещи не таковы...	11
Впечатлительная	16
Бог не оставляет людей	22
Человек радостный	29
Балеринка, Петровна и брат, или Можно ли добыть счастье вручную?	31
«Неблагодарный»	44
Любите нас, пока мы живы...	46
Тяжелое родительское слово	57
Свирепый	60
Шура	66
Конец ознакомительного фрагмента.	69

Ольга Румбах

Человек радостный

Допущено к распространению Издательским Советом
Русской Православной Церкви (ИС Р17-703-0089)

© ООО «ГрифЪ», оформление, 2017.

© ООО «Издательство «Лепта Книга», текст, 2017.

© Румбах О., 2017.

Старики

Ночью был ураган. Качались и трещали деревья старого сада, ветер швырял в окна крупные капли дождя, грохотало на крыше железо – латка в прохудившемся шифере. К утру стихло. Птицы, сначала робко, вопросительно, а после в полную силу, радостно, ликующе загомонили, защebetали, запорхали с ветки на ветку, купаясь в изумрудных каплях ночного дождя.

Эрна не спала. Ей было страшно в эту ураганную ночь. Все казалось, что не выдержит, унесется крыша, что потоки дождя хлынут в ее спальню, зальют постель. Что гигантские ветви ореха, уже омертвевшие, сухие, рухнут на ветхую крышу... И что им, старикам одиноким да бездетным, делать? Как горю помочь?

Дождявшись утра, Эрна поднялась. Одевалась, охая от суставной боли. Боязливо вышла во двор...

Все пело, радовалось, щебетало и славилло Творца столь живо, мощно и радостно, что и в уставшее сердце пожилой женщины стала вливаться радость. Крыша была как будто на месте. Сухие ветви не рухнули – уже хорошо. Может, пару листов шифера и снесло, снизу не видать, – так это горе поправимое. Соседа можно попросить, чай не впервой.

Эрна брела в уборную, уже почти улыбаясь своим ночным страхам. Миновала опасно разбухшую от дождя стену гли-

няного сарая, сделала еще пару шагов... Остановилась как вкопанная, охнула и зашарила слепо рукой в поисках опоры. Закрыла глаза... Открыла...

Наваждение не исчезло. Уборная, старая, щелястая, заботливо обтянутая изнутри отжившей свое клеенкой, чтоб не дуло, лежала теперь на боку, зияя загаженной дыркой и подло обнажая срамную яму.

Утро померкло для старой женщины. Сердце глухо и неровно забилося, ноги сделались ватными.

Через час они вдвоем со стариком, хмурым спросонья и от внезапно свалившейся напасти, тужились с риском для жизни, пытаясь поднять уборную. Железобетонные полозья, на которые она опиралась, одним концом сползли в яму. Их пришлось вытаскивать, водворять на место. Раскисшие края ямы обрушивались, и полозья опять лезли вниз, и приходилось снова и снова вытягивать их из дерьма. Бедные старики уже не обращали внимания на то, что извозились по уши глиной ли дерьмом ли – не разобрать. Беда стояла над ними во весь рост, и они из последних сил пытались противостоять ей, нависшей, грозной, глумливой. Ведь снеси ветер крышу, или упади громадная ветка, проломи крышу – можно кинуться в сельсовет, попросить помощи. Не факт, что откликнутся, но надежда все-таки была бы. Но уборная...

«Оставь, оставь, Ваня, не держи», – отчаянно закричала Эрна. Огромный камень, который стоял на краю и служил опорой, пополз вдруг вниз, в яму. Старик вцепился в него

жилистыми руками, впился ногтями и не пускал. Лицо его сделалось малиновым, толстые жилы вздулись на шее.

«Ваня!!!» – Эрна схватилась за сердце и зажмурилась.

Медленно, медленно, медленно – камень стал поддаваться, достиг твердой почвы. Старик не отнимая рук упал рядом с ним. Хватал ртом воздух. Сердце трепетало где-то в горле. Не чувствовал, что упал прямо в лужу, в жирную грязь.

«Ну на што, на што он тебе сдался?! Пусть бы полз себе в яму, к лешему. Жизни решиться из-за него?!» – ругнулась по вечной женской привычке и замолчала, осеклась, кинулась, насколько могла быстро, за водой.

Они сидели на узкой мокрой скамье привалившись друг к другу, мокрые, грязные, убитые. Хрипло дышали. Молодое утро звенело над ними, пело и набирало жаркую силу. А они не могли отвести глаз от задранного испода уборной, от черной дыры, высасывающей силы, от свалившегося на них горя.

Сил уже не было никаких, а меж тем главная работа еще впереди. Старик отдышался. Тяжело встал и побрел в сарай. Вернулся с бечевкой, с крючьями какими-то. Часа два возилась, «впрягая» уборную в сложную эту сбрую. Примерился. «Ну, старуха, давай, помолясь... Я тянуть стану, а ты подсоби с той стороны... Да не надорвись мотри, возись потом с тобой...»

Это он зря. Это старуха обычно возилась с ним, непокорным, как с дитем малым: кормила вовремя, а еще лечила,

кутала, – и все это, привычно преодолевая сопротивление и брань. Она вообще сдержанная, молчаливая. Недаром же эстонка. Смолчала и сейчас.

«Ну, взялись!...»

Уборная не поддавалась. Набухла от воды, тяжело и сыро лежала, все глубже врываясь в землю.

Потом, поддавшись для вида, раза два срывалась, бухалась оземь.

«Ну, еще раз!...»

Пошла, пошла, пошла родимая!

Вечером у старика поднялась температура. Его трясло и в груди пекло как огнем. Надо бы затопить печь. Старуха – двужильная она, что ли? – раздувала огонь. Тот не хотел жить, кис, исходя дымом, выедал глаза. Как только старик ее, заразу, топил, это ж сколько терпения надо!

Эрна вскипятила на газе травяной чай, укутала мужа старой шалью, когда-то пуховой, нашла, вооружившись лупой, аспирином.

Была напряженная какая-то, молчаливая больше обычного.

За окном стемнело. Чайник остывал, посипывая на плитке. Старик угрелся на продавленном своем диване.

И тут ее прорвало.

«Говоришь, рано еще рожать, давай проживем для себя?» – вдруг выкрикнула она незнакомым высоким голосом.

Старик вздрогнул, открыл глаза.

«Говоришь, нечего нищету плодить? А? Пеленки-распашонки пойдут?» Она стояла перед ним, маленькая, грозная, сверкая глазами. Морщинистые щеки раскраснелись. Мимолетно подумал он, что надо бы давление померить, не ровён час, удар старуху хватит. Но не задержался на этой летучей мысли.

Он знал, о чем она говорит. Удивился – тоже мимолетно.

Они никогда не говорили об этом. Никогда. Никаких упреков. Только долгая тянущая боль от невозможности что-то исправить, как-то оправдаться.

Сколько ж ей тогда было? Лет двадцать, наверное. Он на восемь лет ее старше. Оба еще студенты. Только поженились. И вот она понесла. Стыдясь и краснея, открыла ему, что беременна. А он... Да, так и сказал ей, именно этими словами. Пятьдесят лет назад. Надо же, вспомнила, слово в слово. И про нищету, и про пеленки-распашонки.

Ничего не ответил старик. Только голову со свалывшимися ключьями волос виновато втянул в плечи.

Долго молчали. Неестественно долго. Старуха, подперев дряблую щеку, сидела за столом. Смотрела невидяще куда-то в угол. Она не ждала ответа. О чем тут говорить...

Но он сказал совсем больным, отсыревшим голосом: «Ну ты же помнишь, как все было... У меня институт... И ты еще училась. Мама лежала больная... Ты же знаешь...» Сказал – и закашлялся надсадно. Схватился за грудь.

«Да, милый, знаю, знаю, – не сразу и как-то раздумчиво

отозвалась Эрна. – Ничего. Ничего-о-о, как-нибудь дотянем. Господь милостив...»

Села рядом, поправила сползшую шаль, краешком прикрыла свою поясницу.

Они сидели, укутанные одним пуховым платком, одинаково старые, одинаково седые, касались друг друга острыми иссохшими плечами. И привычно смотрели в печку, которую у них так и не хватило сил растопить.

Вещи не таковы...

Воспоминание это относится ко времени, когда я работала в православном киоске большой городской больницы. Хорошее было время. Если, конечно, не принимать во внимание зарплату, если абстрагироваться от крошечной суммы, которую я там зарабатывала. И знаете, получалось. Абстрагироваться. Очень уж приятно было сидеть в новеньком, только с иголки, киоске, теплом и уютном, среди икон, книг, свечей – милого сердцу мирка, общаться с редкими покупателями или посетителями моей крошечной, как и зарплата, библиотечки, наблюдать жизнь за окошком, которое выходило в больничное фойе, или просто читать. Фрэнсис Бэкон сказал: «Книги – это корабли мысли, странствующие по волнам времени и бережно несущие свой драгоценный груз от поколения к поколению». Он говорил о книгах вообще. А уж книги святых отцов – подлинная драгоценность. Сидишь, бывало, с книгой в руках, как на берегу шумливой реки. Киоск в больничном фойе стоял, там раздевалка, там страсти, ор непрерывный, а у меня хорошо, у меня лампада таинственно мерцает, на ней «паучок» металлический с тлеющим ладаном и – «драгоценный груз» в руках: Исаак Сирин, или Паисий Святогорец, или умница Андрей Ткачев, протоиерей...

Однажды, отработав положенные часы, зашла я в троллейбус, и дремавшая на переднем сиденье старушка встре-

пенулась вдруг и воскликнула: «Ой, как от нее приятно пахнет! Вы только посмотрите, как приятно от нее пахнет!» Ну да, запах ладана и восковых свечей следовал за мною повсюду. Но я не об этом.

Каждое утро, отперев киоск, я выносила и ставила перед окошком кружку для пожертвований, объемистую, литров на десять, на длинных жиденьких ножках. Она была заперта внушительным замком, ключ хранился у церковного старосты, так что доступа к ее недрам я не имела. Вот и в то хмурое зимнее утро я, тоже хмурая и какая-то сонно-зимняя, отперла киоск. Не положивши связку ключей, взялась той же рукой, что ключи держала, за верхнее ушко кружки... да и уронила ключи в приветливо распахнутую щель.

Что делать? Заволокла обратно неуклюжую эту ногастую кружку, опрокинула ее и ну трясти. Обогнав бумажные купюры, с веселым звоном посыпались на бетонный пол монеты. И ключи было показались. Тогда я взяла линейку и...

«Здравствуйте, Ольга Петровна! Что это вы делаете?..» В окошке, ласково и понимающе улыбаясь, возникла сотрудница больницы, кастелянша – морщинистое лицо, желтоватые букли и ехидная улыбка – категорически не верующий человек, убежденная социалистка.

Что, ну что еще она могла подумать?..

Я подняла к ней красное от натуги лицо, пролепетала что-то об упавших ключах... Вышло не очень убедительно.

Вообще она хорошо ко мне относилась, эта старая жен-

щина, всю жизнь проработавшая в больнице. Я подружилась с ее правнучкой, вместе, голова к голове, мастерили мы с девочкой картинку из засушенных цветов и листьев. Там у меня целый гербарий был с весны засушен меж кипами газет.

Кастелянша нарадоваться на нас не могла. Тихонько подходила к окошечку, подглядывала и радовалась. А мы, вздрогнув от неожиданности, но быстро оправившись, с гордостью показывали ей картинку, что смастерили.

В дни, когда Катя не могла прийти к прабабушке на работу, она передавала мне письма. «Здравствуй дарагая Ольга Петровна! Как чувствуешь? Как вообще? А я уже хожу в третий класс. Я болею и бабушка ставит мне компресс. Скоро к тебе приду. Жди...»

И я ей писала не очень длинные, но поучительные и нежные письма. Запечатывала в настоящий конверт. И кастелянша с удовольствием доставляла их маленькой адресатке.

И все было у нас хорошо. Но по-моему, в историю с упавшими в кружку ключами она так никогда и не поверила... А того не знала, что вещи порой (часто!) бывают не таковы, какими кажутся.

И еще был забавный случай. Я с торговлей чего бы то ни было дела не имела. Никогда. И с арифметикой у меня плохо. Поэтому когда предложили мне работать в киоске, я решительно отказалась. Но никто за такие деньги работать не шел. И меня уговорили, мол, и торговли-то там никакой нет, так, слезы одни, и ответственность не большая. А мне как раз

исправляться надо. Смиряться. Вот все как-то и сошлось.

Девушка, что передавала мне материальные ценности, выходила замуж в другой город. Спешила очень. Оно и понятно – надо идти, пока зовут. Передавала ценности наспех, а я если и считала поначалу, хоть и с ошибками, но устав и проголодавшись, потеряла интерес к происходящему. Одно утешало: в православии всё на доверии. И никто никого нарочно подставить не стремится. В общем, девушка упорхнула замуж, а я осталась хозяйкой киоска. И было у меня, так сказать, на балансе серебро. Цепочки, крестики, кольца «Спаси и сохрани». Я все это богатство разместила на стендике, красным бархатом покрытом. Вышло красиво. В глаза сразу так и кидается. С одной стороны хорошо, а с другой – соблазн. Народ в фойе больницы всякий ходит. Вахтерши меня предупредили, что киоск этот и взламывать уже пытались, да что-то, видно, помешало. А замок там хлипенький, для честных людей разве что. Вот и стала я думать, куда спрятать серебро. Сейфа в киоске нет, шкафчики только по периметру устроены. В шкафчик ведь не положишь – сразу найдут. Так я под шкафчик решила подсунуть – подальше, сколько руки хватит. Подальше положишь – поближе возьмешь – бормочу. Встала с колен, наклонилась – не видать. Кивнула удовлетворенно. Оделась, заперла киоск и со спокойной душой устремилась к выходу. «Олечка Петровна, далеко ли собралась – кричит в спину вахтерша, – а это у тебя что?..» И тянет насмешливо из-под киоска красивый мой стендик с дра-

гоценностями. Я и обомлела. Подсовывала-подсовывала по-дальше, а того не учла, что тонкие, мебельные, в общем-то, стенки киоска не доходят вплотную до пола. И стендик мой, алым бархатом покрытый, высунулся и до того в глаза кидается, что и не хочешь, а вытянешь. Такой вот конфуз.

С тех пор слух обо мне прошел промеж вахтерш как о тютте-матюте. И стали они меня, слегка презрительно, опекать. А кто и от души. Люди-то разные...

Впечатлительная

Глухая летняя ночь. Тихо, но прохлады нет – разогревшийся за день асфальт лишь отдает тепло. Петровна не спит. Думает. Новость переваривает. И уже злится на себя. Ну да, сотрудница разводится с мужем – что же теперь, не спать из-за этого? Да, они вместе всю жизнь, с детства, венчанные, сын у них подросток. Столько вместе пережито... Но ведь оба взрослые уже, знают что делают. И все же жалко. Претензий друг к другу всегда хватает, это понятно, ну так что, разводиться?

Наде уже за сорок. С какого-то момента (с какого?) стала она остервенело носиться по распродажам, наряжаться. Распустила свои роскошные, цвета спелой пшеницы волосы по веснушчатым плечам, юбки укоротила. А как принарядилась, глянула на себя – ахнула: раскрасавица! Ухаживания старого... м-м-м, как бы помягче... сослуживца принимать стала. Что он ни скажет, даже совсем плоское, она хохочет залиvisto, голову назад запрокидывает, шею длинную показывает. А тот и рад стараться – и чайку ей принесет с кухни, и пироженку купит... А сам старый совсем. Ноги жиденькие, синими венами обвитые, а туда же. Он летом в офис в трусах ходит. Вроде как шорты – но ведь обыкновенные трусы семейные, только что в клеточку, тьфу! А она ничего, знай похохатывает. Смотреть тошно.

Петровна зашарила по прикроватной тумбочке, зашуршала аптечной облаткой. Свет не включала, незачем: треугольником отрезан глицин, а квадратная облатка с крупными таблетками – то тенотен, от нервов. Всё уж давно изучила, давно приноровилась к своим бессонницам.

И чего так разволновалась? Жизнь есть жизнь. Бывает, и разводятся люди. Что ж тут особенного... Но так больно стало, тревожно, зыбко, будто мир рушится...

Он и в самом деле рушится, мир. Вот и эти двое уходят друг от друга. Куда? Кто их где ждет? Это ведь кажется так, что за углом счастье неведомое притаилось, возможности разнообразные. Хлебнула Петровна в свое время этакого «счастья», врагу теперь не пожелает. Ее юный муж тоже сказал когда-то, что уходит. Такая же ночь была темная, душная. Они спать ложились. Сказал деланно-безразличным тоном и отвернулся от нее, от жены своей. А ее будто кипятком ошпарило – не ожидала совсем. Ну, ссорились, конечно, всяко бывало, за пять-то лет. Охлаждение какое-то в нем замечала, но чтоб разводиться... Нет, не ждала. И думала раньше, что это фигура речи такая – «кипятком ошпарило». А оно в самом деле так. Будто от затылка по шее и плечам горячее потекло. И руки пудовыми сделались, обвисли. Еле постель достелила. Помнит, лежала, смотрела ему в спину сухими горячими глазами. Сердце колотилось где-то у горла. Майка его едва белела в темноте. Ближе к лопатке, она знала, дырочка есть, отбеливатель проел. Все собиралась за-

шить, да, видно, уж не придется. Другая зашьет.

Понятно теперь, что это за командировки были...

Ни слова она не проронила в ответ. Он ждал слез, упретков. Какое-то время был напряжен, а после задышал сонно, засопел – уснул. А Петровна до утра куковала, долю свою безмужнюю осознавала, все думала, как им с дочкой теперь жить. Может, с тех самых пор и начались у нее тяжкие бессонницы.

Вот и теперь не спит, крутится в скрипучей своей постели, вздыхает да лекарства пьет. Задремлет – а тут они опять, супруги эти несчастные грезятся. Бредут понуро в разные стороны, а земля под ними вся иссохшая, потрескавшаяся. И жалко их – сердце так и заходится.

Муж у Нади действительно грубоватый, неласковый. Слова доброго от него не услышишь. И жадный. Надя так говорит. Но ведь детство у него было – не приведи Господь. Рассказывал, что мать его шлангом, бывало, лупцевала так, что шрамы оставались. Может, несчастье свое женское вымещала, как знать. Ведь все мы, как известно, жертвы жертв.

Конечно, Наде тяжело было с ним. Всё книжки на работе читала, психологов православных – о конфликтах в семье, о женском одиночестве. Пыталась, как учат психологи, больше разговаривать с мужем. Ужин вкусный, бывало, приготовит, сына быстренько накормит, выпроводит гулять. А сама стол на двоих сервирует, свечи высокие, как в американских фильмах, зажжет. И фраза эта, тоже американская:

«Нам нужно поговорить». А муж с работы придет уставший, неловко ему, театр какой-то, честное слово. Он их терпеть не может, разговоров этих. Ну, нагрубит. Она – в слезы.

В последнее время Петровна заметила у Нади книгу «Как пережить расставание». Не обеспокоилась, знала, что та психологией интересуется. А оно вон к чему было... О-хо-хо, грехи наши тяжкие...

Петровна подушку свою горячую и влажную на другой бок перевернула. Подбила с двух сторон, чтобы удобно было. Простыню любимую фланелевую (умеют жить буржуи!) натянула до подбородка. Вздохнула протяжно: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешную...»

А тут директор еще. В асфальт, говорит, закатаю тебя, никто и не узнает, если пить не бросишь, тварь. О как. Не ей, не Петровне, понятно, говорил, а родственнице своей пьющей. Но холодом могильным от слов этих так и потянуло. Так и видится Петровне асфальт, вероятно, в гараже, так в фильме каком-то было, и краешек платья шифонового торчит, не углядели – жуть.

Директор, что называется, человек с прошлым. Всякого в жизни навидался, пережил, особенно в девяностые, когда каждый крутился как мог. Но пришел в Церковь, в Бога уверовал, покаялся. Смог. И давно уж воюет с ней, с родственницей. Заставляет в церковь ходить, причащаться. Та повинуется грубой силе – не более того. И опять пьет. А он психует. Петровна ему как-то в хорошую минуту сказала, что вот

вы же не можете перестать психовать, хоть и причащаетесь; я, к примеру, никак не избавлюсь от греха осуждения, а Тамара – от пьянства. И не надо требовать от нее немедленных результатов. Она же не владеет собой. Как говорит преподобный Паисий Святгорец, слишком большую власть над ней возымели темные силы, самой ей не справиться. Молиться за нее надо. Молиться, а не в асфальт закатывать.

Еще камеры эти везде понатыканы... Тоже мне, всевидящее око. Большая икона Троицы рублевской висит, а над ней аккурат глазок камеры. Петровна поднимается к себе, первым делом крестится перед иконой и поклон поясной кладет. А директор смотрит на свой монитор – и что? Млеет? Или веселится? И зачем они вообще, камеры эти? В каждом кабинете, на рабочие места нацелены. «Не обращайтесь, говорит, внимания». Ну да. А Петровна и домой приходит, взгляд сверлящий на затылке ощущает. Впечатлительная. Система у нее нервная.

Петровна думает обо всем об этом, о мире, стремящемся к гибели, о грехах своих и чужих, и так горько, так холодно и тоскливо становится на душе, что она рывком поднимается и, став босиком на холодные плиты пола, начинает класть земные поклоны. Колени скрипят, дыхание сбивается, но Петровна не обращает внимания. Не менее двадцати поклонов – уже по опыту знает, что меньше никак нельзя, иначе не уснуть.

Умаяв себя, к утру Петровна засыпает. Дыхание ее ста-

новится ровным, увядшие губы начинают выдувать сонное: «Пф-ф, пф-ф...», но складка меж бровей так и не хочет разгладиться.

А на следующий день, придя на работу и включив комп, Петровна читает в новостной ленте, что минувшей ночью была редкая по своей силе магнитная буря. И понимает Петровна, что это и было причиной ее ночных страданий. И что жизнь, в общем, вполне сносная штука, терпеть можно. И что сотрудница Надя, может, не насовсем разведется со своим мужем. А если и разведется, то что ж, дело житейское. И, главное, директор вряд ли закатает свою родственницу в асфальт. Вряд ли...

Бог не оставляет людей

«...Ну и вот. А врачи ей и говорят: аборт тебе, деточка, нельзя делать – родить больше не сможешь. Ритка в слезы. Стыдно ей перед бабушкой беременной объявляться. Та ее в строгости воспитывала, хоть и жалела. Мать-то ее еще ребенком на бабушку бросила, все жизнь свою устраивала... Вот Ритка и была нелюдимой, недолюбленной. Вот и кинулась к первому парню, что внимание на нее обратил. И залетела.

А вообще-то раньше все строже было, сама, небось, знаешь... Во-о-т».

Приятельница моя с пышным именем Олеся Роландовна сидит у меня в библиотеке и рассказывает о подруге своей юности.

Давно сидит. Время от времени спохватывается: «ой, тебе, наверное, работать надо. Сейчас пойду». Но остается на месте. Да и куда ей идти – дома никто не ждет. А здесь кондиционер. Чай с печеньками. Ну и свободные чисто вымытые уши.

Порывшись в сумке, Олеся Роландовна достает таблетку, запивает ее чаем, – как птица, запрокидывая голову. Продолжает рассказывать.

Мне слегка нудно, и я вполуха слушаю о злоключениях Олесиной товарки. Тоскую по компьютеру. Он тихо урчит и

призывно помигивает зелеными своими змеиными глазами.

Но постепенно я увлекаюсь повествованием и уже с неподдельным интересом слушаю свою гостью.

«И что ты думаешь?.. Так и вышло. Детей у Ритки уже не случилось. А ведь ей еще раз тогда сказали, предупредили о бесплодии, уже когда она на кресло взобралась, чтобы аборт делать...

Потом появился Женя. Свет в окошке. Влюбилась страшно. Он тогда в малой авиации работал. Высокий, статный. Тоже еврей. Красавец. Женат, конечно. Дети у него. Сразу ей об этом сказал, чтобы не рассчитывала на многое. Но Ритка уже с цепи сорвалась, не остановишь. И так его приваживала, и эдак. Готовила великолепно. А он пожрать далеко не дурак. Представь, она ему намочит кило черешни, первой, до-рогущей, поставит перед ним. Он уработает всё и даже не спросит, пробовала ли она сама.

Я часто тогда у них бывала. Дружили крепко. Все выходные, все праздники вместе. Как уж он там жене докладывался, не знаю, а только ночевал у Ритки часто. И отдохали мы вместе. Другой раз сядем на диван. Он обнимет-облапит нас обеих. И доволен.

Ко мне Ритка не ревновала, знала, что у меня на мужиков глаз не горит. Мне даже неприятно было.

Годы шли. Ритка к нему все крепче и крепче привязывалась. Подруг совсем у нее не стало, я одна. И только и разговоров у нее было, что о Жене ее ненаглядном. А он полнеть

стал. Диабэт у него развился. И совсем уж он был не тот красавец, которого она полюбила. Тридцать шесть лет они были вместе. Да, тридцать шесть лет... Последние пять лет он к ней таки перебрался. Сидит, бывало, по целым дням в кресле перед телевизором. А ей ничего больше и не надо. Только и слышишь: “Женя, кушать... Женя, кушать...” А у него ж диабэт. Ему бы диэту...

А когда она его на Мальдивы потащила, он чуть Богу душу не отдал. И ехать-то не хотел, там же жара. Нет, она пристала, сама билеты купила – мечта у нее, видите ли, на Мальдивах побывать. Ох, и намучился он там. С трапа самолета прямо в больницу по скорой загремел, чуть в диабетическую кому не впал.

Я тогда у дочки гостила. Целое лето. Так Ритка чуть с ума не сошла, без конца мне звонила, часами рассказывала о Жене.

А потом – бац! – Женя умирает.

И никто не идет его хоронить. Никто! Первая жена, а ведь они всю жизнь, считай, вместе прожили, не пришла. Дети из-за границы не приехали. И Ритка не посмела явиться на похороны, они ведь так и не были женаты. Думала, жена придет. Организация, где Женя когда-то работал, похоронила его. Ритка издалека провожала гроб, вся в истерике, за чужими могилками пряталась. Во жизнь!..

А теперь и сама в больнице лежит. В психушке. Вот так-то вот.

Я сама ее туда и положила. У нее странности начались. Она на работу перестала ходить. И вообще из квартиры перестала выходить. У меня ключ был, так я и за продуктами для нее бегала, и готовила. Но это ж не дело, у меня тоже возраст.

Я и так ее, и эдак. В церковь к нам заманивала, думала, может, полегчает ей.

Мне-то помогает. Я чуть что – сразу в храм, в наш, в Никольский. Постою на службе, и так благостно делается, и опять жить можно. Я-то тоже одна мыкаюсь, дочка далече. Тоже одиноко бывает. Только храм и лечит.

Ритка на службу-то пришла, а стоять не может, тошно ей делается, дурно. Только свечки поставила.

Да она и не верует вовсе. Известное дело, некрещеная. Я ее спрашиваю, а к кому ж ты тогда ходила, если в Бога не веруешь? Она мне тихо так, безжизненно: «К Жене...»

В тот день, как Женя умер, я одна была в дочкиной квартире. Утро, помню, ясное такое, теплое. Лето, ласточки порхают, свищут. И вдруг в балконную дверь птица черная влетает. Я опешила, сердце так и оборвалось. Я сразу про Женю подумала. Полотенцем махнула, птица побилась о стекло да и вылетела. А я еще от матери знаю, что весть это. Не к добру. И точно.

Ну, пойду я... А то совсем тебе уши заездила...»

«А как же Рита?»

«Рита?.. Так я ж сказала, в больнице она. В психушке.

Мать ее, старая уже совсем, приезжала с Севера. Покрутилась, хотела опеку оформить над дочерью. Видно, не получилось, она и уехала. У Ритки ж, кроме квартиры, ничего нет. Она всегда хорошо одевалась. Работала, пенсию еще получала. Я думала, у нее на счету на черный день кой что припасено, так нет же. Одно барахло. А барахла!.. Одних шуб целых три штуки. А платьев!.. А обуви!..

Ну, пойду... О-о-й, засиделась я, ноги отекли. Ну, до свидания, будь здорова. Может, еще как-нибудь найду...»

Олеся Роландовна, припадая на замлевшие ноги, ушла. А Женя с Ритой остались. И долго, долго еще думала я о них. Жалкие, несчастные, обокравшие сами себя, жившие на своей волюшке, растерявшие и детей, и близких, и друзей. Безумцы, полагавшие счастье найти друг в друге. Какая утопия! Какая горькая насмешка!

Соблюдение заповедей Божиих, как и соблюдение законов физических, помогает нам жить не калечась (и не калеча других) в этом мире. А почитание Отца, сотворившего все, и нас тоже, навсегда избавляет от одиночества. Верующие люди, каждый в своей мере, это знают. Женя и Рита не знали. Не желали знать. Они желали друг друга. (Господи, как это ничтожно мало!) И обладали друг другом, – пренебрегая слезами и горем обманутой жены, слезами, а позже и презрением, детей, их изломанными судьбами. И если оглянуться, ничего-то не было в их жизни за тридцать шесть лет, кроме этого самого «Женя, кушать» да нескольких шуб, да

несуразной той поездке на Мальдивы. И – вечный страх быть пойманными, уличенными в измене, страх позорного разоблачения.

Бедные, бедные люди!

И другая история всплывает в памяти. Совсем другая история, хотя начиналась она примерно так же, ведь, как известно, юность – время безумия.

Он – красавец, она недолюбленное когда-то дитя суровых и вечно занятых родителей. И ей тоже казалось, что вот он, любовь всей ее жизни, вот с ним она будет наконец-то счастлива. А у него семья, жена (говорил: у нас с ней давно ничего нет! Врал, конечно) и двое детей, мальчики. И героине нашей тоже хотелось дышать им, вдохнуть его в себя и не отпустить. Но болела и болела совесть. И стояли в глазах мальчики, доверчиво смотрящие в объектив, а казалось – в душу. Фотографию эту ее любимый носил при себе. Позже поняла – чтобы она на многое не рассчитывала...

Но любил. Здесь она не могла ошибиться. Потому что когда она наконец нашла в себе силы со всем этим покончить – плакали оба. Не сама решила, Господь помог. Сначала нашлась чистая женщина, одна жена одного мужа, которая сказала с бесконечным состраданием: «Почему ты соглашаешься на такую низость? Неужели ты думаешь, что не заслуживаешь большего?..» И предупредила: «Смотри, добром такие вещи не заканчиваются. Господь, Он все видит».

Она задумалась. Все в ее окружении восхищались тем, ка-

кая они красивая пара, как подходят друг другу, словно друг для друга созданы. И никто ничего подобного не говорил. Хотя знали, что он женат. И только эта женщина... Может, потому что верующая?

А потом приснился сон. Будто давно умершая мать наряжает елочку и говорит ей: «К Новому вместе будем...» Дело в сентябре было. И ей стало страшно. Вот тогда она и сказала любимому, что видятся они в последний раз. Тогда и плакали, обнявшись, вместе.

А уже через год ее можно было встретить с мужем, спокойную и счастливую. Хоть и трудностей в этой ее новой жизни было немало. А он, тот, кого она так любила, встречался со следующей женщиной, чем-то неуловимо похожей на нее прежнюю. И, вероятно, в кармане его пиджака так же лежало фото сыновей.

«Бог не оставляет людей навсегда ни в несчастьи, чтобы они не изнемогли, ни в счастье, чтобы они не сделались беспечными, – говорит святитель Иоанн Златоуст, – но различными способами устроит их спасение» (49, 383).

Вот это-то последнее нам и нужно положить на сердце: «Бог не оставляет людей... но различными способами устроит их спасение».

Человек радостный

Середина апреля, и она влетает ко мне, вся такая весенняя, брызжущая радостью, истосковавшаяся по веселью. Моя подруга Наташа – человек радостный. Где-то прочитала, что если радость не поселилась у христианина в сердце, значит, он неправильно развивается. Наташа развивается правильно. Она, как уже сказано, радостная. А еще шумная, напористая, она полна жизни. Но на дворе пост. Последняя перед Страстной неделя. И Наташа, собираясь в город и продумывая свой образ (а как же!), учла это, конечно.

Она в яркой, в мелкий цветочек косынке, стильно повязанной; ярко-голубой, в тон глазам, майке; в бирюзовых, в тон майке, бусах и сережках. Поверх всего этого великолепия и пиршества красок надела она серый «постненький» костюм, который чрезвычайно идет к ее глазам и очень стройнит.

«Ну как ты можешь так возмутительно хорошо выглядеть, – говорю я с упреком, в котором легко читается зависть, – ведь пост на дворе!»

Она быстро опускает глаза, делает паузу (вне поста она бы мне уже ответила) и говорит обидчиво: «А зато я в косынке и брови себе не нарисовала – вот, видишь!» И она двигает кожей в месте, на котором обычно красуются брови, теперь же скучает и ждет Пасхи невыразительный белесый подшер-

СТОК.

Балеринка, Петровна и брат, или Можно ли добыть счастье вручную?

Петровна поздно вышла замуж. Всё не брали. Лицо у Петровны... Как бы это сказать... Челюсть нижняя тяжелая. И зубов как будто многовато – крупные такие, влажные, и всегда «на улице», если можно так выразиться. Очень уж Петровна веселая да улыбчивая – просто на редкость. И активная, живая.

Петровна счастлива. Годы метаний, неистовых поисков суженого, неудовлетворенности позади. Теперь – действительно счастлива, слава Богу. Муж есть, работа, квартира. Здоровье частично утрачено, но и того, что осталось, покуда хватает, – чего же еще? Но в том-то и дело, что Петровне мало быть счастливой одной. Ей горько от того, что родной ее брат несчастлив. Одинок. А по глубокому Петровнину убеждению, одинокий человек не может быть счастлив.

И давно уже Петровна старается сделать брата хоть чуточку счастливее. Например, попались ей под руку книжки небезызвестной целительницы Семеновой – и вся маленькая семья Петровны стала ежедневно закатывать себе гигантские клизмы – избавляться от воображаемых паразитов. А то, говорит, мы все какие-то бледненькие, не иначе паразиты за-

велись.

Семенова чрезвычайно талантливо описала, как человеческий организм кишит всякими паразитскими тварями. Единственное, пишет, спасение – клизмы. Она сама, пишет, только этим и спасается. К книжке еще картинки цветные приложены – гельминты, извлеченные из чьих-то недр, в цвете – б-р-р. Петровна вообще впечатлительная. А брат ее и муж как-то очень уж доверчивы. Забывают, что женщина, по библейскому выражению, немощный сосуд. Вот и выполаскивали в течение какого-то времени свое внутреннее содержание, пока не восстали, не возмутились, не обнаружив в этом самом содержимом ничего даже отдаленно напоминающего паразитов. Долго потом обижались на Петровну. А Петровна плечами пожимала: никто никого не неволил, взрослые же мужики, своя голова на плечах имеется...

Но речь пойдет вообще, вообще не о паразитах. Скорее, о паразитках (шутка). Это уж так, к слову вспомнились клизмы, чтобы понятно было, как сильно желала Петровна счастья своему брату. И не просто как-нибудь вяло желала, а – деятельно.

Вот однажды, например, пришла в квартиру брата, по ее собственному выражению, «вычищать авгиевы конюшни». Известное дело, брат – холостяк, и в квартире царит всегдашний беспорядок. Как же, рассудила Петровна, личную жизнь заводить, когда в квартире такая грязюка. Вот, говорит Петровна, выдраю все, потом батюшку позовем, чтобы

квартиру освятил, помолился чтоб, вот Господь и даст тебе счастье, пошлет суженую. Мне же моего дал – и тебе даст. Брат соглашается. Ему, может, и самому хочется счастливым быть. И еще потому соглашается, что квартира после размена с бывшей женой досталась ему «нехорошая». Обмен после развода несколько раз срывался из-за того, что жена находила слишком хорошей квартиру, что мужу бывшему достанется. Наконец нашла эту, «нехорошую». Предыдущий хозяин, похоже, не смог в ней жить, быстро продал. А сам ее купил у наследников после смерти молодого хозяина – тот в окно выпрыгнул с девятого этажа. Что этому предшествовало, что заставило его так поступить – неведомо, но только вскоре очевидно стало, что обитает в квартире всякая нечисть. Краем глаза видел брат какое-то существо рыжее, безобразное, мужеского полу; какое-то шевеление за спиной ощущал, и мороз пробирал до самого затылка. Временами необъяснимый ужас наваливался, душил. Так что старался он больше времени на работе проводить – заодно и карьеру сделал. Словом, квартиру явно требовалось освятить.

И правда, все хорошо получилось. Выдраила Петровна и комнату, длинную, как троллейбус, и кухню – любо-дорого. Сама батюшку привезла. Круп разных в рюмки насыпали, свечи зажгли. И наполнилась квартира клубами ароматного афонского ладана, и, кажется, приснули с неслышными воплями в разные стороны нетопыри, что жили в ней непонятно на каких правах. И молитва густо звучала из уст и широкой

груди дородного священника – не хуже колокольного звона, и кропил он святой водой все углы и закоулки жилища, изгоняя нечистых. И впервые за много дней, а может, и лет, спал Петровнин брат спокойно, без удушающих сновидений и ночных мечтаний.

А того не знал, что готовится уж новое испытание в рамках, так сказать, организации его личного счастья. И что клизмы те чуть не ведерные – сущие пустяки по сравнению с тем, что еще предстояло пережить.

Прибираясь в квартире, Петровна наткнулась на альбом с фотографиями. Присела, уставшая, стала перебирать их с теплым чувством. Она успела забыть, что брат смолоду был таким красавцем. Рубашка чуть не до пупа расстегнута, обнажает мускулистую грудь, джинсы-клеш, волосы длинные ветер раздувает. Взгляд – дерзкий, самоуверенный, какой бывает только у очень зеленых юнцов. С тех пор, как говорят, укатали сивку крутые горки. И взгляд стал более умеренным и более осмысленным, и штаны он теперь классические предпочитает. Ну, и волос существенно поубавилось. Зато карьера в гору идет, положение солидное. Только вот с семьей не заладилось... Петровна берет выпавшую из альбома фотографию. С кем это он? На черно-белом фото брат стоит в обнимку с невысокой молодой женщиной, довольно приятной, аккуратненькой – волосы выющиеся до плеч, брюки «банан», улыбается... А! Это ж, наверное, балерина та, что к нему приезжала с Севера, они там вместе учились. И в

институте дружили. Вспоминает Петровна, как мать получила телеграмму от сына: «Срочно вышли денег... Вылечу из института...» Сумма крупная указана. Ну что, повздыхала, поворчала заодно на молодежь, на юную Петровну, будто она в чем виновата, и пошла деньги с книжки снимать. Мать все-таки. А он после даже не объяснил, что за нужда такая была.

Балерина эта, что с фотографии, приезжала к брату, когда семья Петровны на юг переехала жить.

Петровна тогда одна маялась, тяжело ей было. Матери уже в живых не было. Отец еще раньше помер. Квартира ей досталась от родителей сырая, печка не топится, дров негде взять. Просто руки опускались.

И вот однажды пришел к ней брат с этой самой балеринкой. И такими счастливыми они ей показались, аки голуби. Так и жались друг к другу, так и льнули. Даже позавидовала грешным делом.

«Женись на ней – говорила брату, – чем не невеста, любит тебя, это ж видно!» – «Не-е, не мое это...» – вяло отбивался брат и разговор в сторону уводил.

Много позже брат признался, что балеринка (они так между собой и звали ее – «балеринка») понесла от него и, вернувшись на свой Север, через положенное время родила сына. И раз в год, в день рождения брата, стала звонить ему по телефону. Петровна помнит эти звонки. Брат надолго уходил в кухню с телефоном. Провод от него не давал плотно закрыть дверь, и слышно было, как говорит он тихо, через

большие паузы, будто успокаивает. А на другом конце провода будто плачут. Гости притихали, вслушивались. Именинник возвращался смущенным, взъерошенным каким-то.

И фотографии мальчугана присылала, вот они, кстати, тут же, в альбоме хранятся отдельной пачкой. Петровна всматривается... Мальчишка лет четырех на трехколесном велосипеде. Нос пуговкой, губы толстые... Ничего общего. Вот разве что глаза... с хитринкой такие, будто чуть припухшие. Кто его знает... А вот – постарше. В хорошеньком костюмчике, вытянулся, руки по швам, взрослого из себя строит. Ребенок как ребенок...

И закралась Петровне в голову некая мысль... Повертела она задумчиво фотографию, где голубки вместе, да и положила ее себе в сумочку. Брату ничего не сказала – дело не терпело огласки.

Только город Петровна знала, где балеринка живет. И надо же такому случиться, что в большом этом северном городе жила Петровнина родня. Это судьба – решила Петровна и выслала родне фото с просьбой разыскать человека. Фамилию, правда, к тому времени уже знала. Объяснила, что это, мол, вопрос жизни. Про смерть не стала, чтоб не пугались.

Родня исполнительная оказалась. Да и балерин в городе, хоть и большом, а все ж не так много.

Оказалось, работает балеринка в местном Дворце культуры, молодую поросль воспитывает.

Списались. Скайпов тогда еще не было – общались исклю-

чительно посредством писем. «Я помню, – писала Петровна, – как вы вместе приходили ко мне в гости, такие молодые, такие счастливые... Брат и теперь один... Очень мне хочется с племянником встретиться, поглядеть на него. Чай я ему тетя родная – не обижу. Отдыхать приезжайте, на море. У нас хоть квартира маленькая, а все же мы с мужем рады будем – в тесноте да не в обиде, верно?..»

Через месяц только письмо пришло в ответ. Балеринка писала сдержанно: «...Да, так вышло, что я растила сына одна. Было трудно, но теперь у нас все хорошо. Сын вырос, ему скоро в армию. За приглашение спасибо. Не обещаю, но постараюсь...»

Петровна довольна. Того и гляди брата пристроит в хорошие руки – семья же готовая, считай.

«Семья же у тебя готовая... – внушает Петровна брату. – Чего еще искать – сын уже есть. Знаете друг друга с юности...» – Это уже когда балеринка написала, что приезжает в гости. Воспитанницы ее, балерины будущие, на лето в лагерь едут, так она с ними увязалась.

«Да какая там семья...» – тихо психует брат и, не допивши чаю, идет к выходу обуваться. Разговор ему неприятен. Зашел в гости к сестре, а она опять за свое – сколько можно... «Ты же ничего не знаешь! Не мое это, не смогу я...»

Ей бы в самом деле и отстать... Куда там! Да и поздно уже, балеринка вот-вот приезжает.

«Детей делать – твое, а с матерью его жить, так не твое! –

ехидничает Петровна вдогонку, успеваает, пока дверь за братом не захлопнулась.

Ладно, решает Петровна, сама буду с ней дружить, племянника привечать. Сама гостью приму.

А все же – вот настырная! – упростила брата приехать на вокзал.

Дальше вспоминать неприятно. Как в дурном сне, когда длятся и длятся тягучие какие-то события, и плохо тебе, а проснуться не получается.

Балеринка сошла с поезда в окружении говорливой, весело-оживленной стайки воспитанниц. Они были стройные, как статуэтки, все как одна с элегантным балеринским пучком на затылке. Гостья улыбнулась и смущенно, и несколько снисходительно при виде делегации – Петровна с мужем и давняя ее любовь, поседевший, но по-прежнему стройный и элегантный, Петровнин брат.

Та встреча была мимолетной. Детей ждал автобус, на котором они отправлялись в свой лагерь на берегу моря. И балеринка с ними.

Брат нес тяжелую сумку гостьи к автобусу. Они обменялись незначащими фразами, оба были смущены и, казалось, готовы провалиться сквозь землю. И – избегали смотреть друг на друга.

Петровна была оживлена и растрогана. Она не понимала еще, что натворила. Муж Петровны доброжелательно-приветлив. Ему-то что, его дело – сторона. Не он заварил эту

кашу... А брат – тот был просто в ужасе.

Договорились, что балеринка, как устроится и как позволят дела – сразу же приедет на несколько дней в город. Автобус укатил.

«Какой ужас! – проговорил брат, первым нарушив сложное молчание их маленького сплоченного коллектива, – что с людьми делает время! Ты видела? У нее зубы веером!!!» – «Ну, вероятно, у нее парадонтоз, – беззаботно отозвалась Петровна. И добавила рассудительно: – Зубы и новые можно сделать. Правда, эти все до единого придется выдернуть...»

Брат ее не слушал. Подруга юности произвела на него сильное впечатление. Он был подавлен.

Дальше было хуже. Много хуже.

Балеринка, она ведь, бедная, решила, что отец ее ребенка раскаялся (в чем? неважно!) и страстно мечтает о воссоединении семейства, мечтает о сыне...

Так часто бывает. Многие отцы, накуролесив в жизни, в преклонном возрасте ищут своих развеванных по свету детей. И размазывают старческие слезы, и трясутся, и жалко их, но и противно тоже. И далеко не все дети, уже выросшие, готовы принять их в свое сердце. Не все могут простить того, что не было рядом отцовской теплой руки, крепкого плеча, не было защиты. Что воспитывались они, часто, исключительно женщинами, и от этого что-то покорежилось в них, что-то сломалось, а что-то не проросло вовсе...

Итак, балеринка решила, что ее ждет реванш, и основа-

тельно к нему подготовилась. Накупила атласных халатов с попугаями – невыносимо алого цвета. Накупила шортиков, чтобы, значит, ножки свои все еще хорошенькие, хоть и с признаками подагры, показать. Продумала тщательно туалеты... И все никак не могла отойти от этой роли, никак не могла взять в толк, что все это ничего общего не имеет с действительностью. И губки надувала, отчего это дружок ее старинный не идет, ведь она уже здесь. И Петровна мучилась, пыталась деликатно донести, что она сама, Петровна, да муж ее, – это все, на что может рассчитывать гостя, что не чужие же они, в самом деле, люди, и поговорить им есть о чем... И накрывала столы, парила-жарила, и пыталась развлечь гостью, расспросить о сыне – все напрасно. Та лишь дулась и требовала подать ей милого дружка.

И он приходил даже пару раз – не то сестру-дурочку жалел, не то о сыне хотел послушать – как он, что он, какие планы строит, большой ведь уже, в армию скоро.

Раз затеяв игру, балеринка никак не хотела от нее отстать: утомительно кокетничала, делала глазами «мерцающие звезды», непрерывно хохотала, говорила полунамеками. О сыне вовсе не хотела говорить, напускала туману, так что и понять ничего было нельзя. Как бы приторговывала информацией о нем – как бы имела на руках козырь и придерживала его.

Господи-Господи, силы небесные – это же надо было вынести!

Брат испарялся очень быстро, что было понятно. Не отве-

чал на телефонные звонки. Балеринка обижалась на него, но изводила Петровну (и поделом!). От нечего делать кокетничала с Петровниным мужем. Тот не только не возмущался таким поведением гостыи, а даже и млел, – все же не всякий день за тобой балеринки ухлестывают.

Петровна чувствовала себя одинокой и глубоко несчастной. И казалось, не будет этой муке конца.

Но всему приходит конец. Абсолютно всему. Маленькие балеринки загорели, накупались в ласковом море, набрались здоровья на долгую северную зиму. Им пора было прощаться с Крымом. Уезжала и большая балеринка.

Она позвонила Петровне на работу и возмущенно спросила, собираются они ее провожать, или ей придется так и уехать не простившись.

Петровна знала, кого на самом деле хотела видеть отъезжающая, но покорно собралась и вместе с мужем – а уже смеркалось – повлеклась на вокзал. На всю жизнь запомнит Петровна лицо своей гостыи, слабо освещенное вокзальными фонарями, искаженное негодованием – злое, некрасивое лицо с торчащими зубами и брызгами изо рта. Балеринка уже не наигрывала какую-то придуманную роль, а гневно отчитывала их двоих, пожилых уже людей, Петровну и ее мужа, которые две долгие недели принимали ее у себя в маленькой квартирке и в том только и повинны были, что хотели как лучше, хотели счастья. Брату, да, но ведь и ей тоже, и ее сыну...

Как ни странно, история эта сблизила Петровну с братом. И с мужем. Они собирались вместе и тихо и умиротворенно – как пережившие опасную бурю – разговаривали. Петровна просила прощения у брата. Он не сердился на нее. Но, разумеется, и не одобрял эту ее затею – от начала и до конца. Рассказал, что тогда еще, в юности, балеринка тоже забеременела. И вышла некрасивая история. Он, юный студент, и думать не хотел о детях. Но она поступила по-своему. И преследовала потом его неистово, и жаловалась в деканат, и устраивала сцены. А поняв, что ничего у нее не выйдет, потребовала «отступных» – денег. Тогда и явилась на свет телеграмма, так возмутившая их мать: «Срочно вышли денег... Вылечу из института...»

Сделала аборт уже на очень большом сроке... «И вообще, она законченная истеричка, у нее что-то с психикой... Я всегда это подозревал...»

«Господи, да почему же ты не рассказал мне об этом раньше?!» – всплескивала руками Петровна. «Ты бы все равно мне не поверила...» И Петровна понимала, что да, не поверила бы и до последнего защищала несчастную девчонку, хотя бы из женской солидарности.

Рассказал, что встречался с балеринкой вне Петровниного дома и без «чуткого руководства» сестры. Попытался поговорить о сыне. Ведь болело же это в нем, болело. Но балеринка была непреклонна: «Сначала деньги, а уж после – ступля». Не буквально, конечно, а в смысле: сначала ты на мне

женишься, а уж после поговорим о сыне. Что тут скажешь...

Шли годы. Затягивались раны. Петровна не пыталась уже вручную устроить счастье брата, больше полагаясь на волю Божию. И о здоровье его меньше пеклась. Не то чтобы совсем – трудно все-таки от привычек своих отстать, – но все-таки меньше.

Но вот однажды, уже довольно много времени прошло с тех памятных событий, Петровна, забывшись, вдруг сказала: «Слушай, а ведь у тебя есть дочка от первого брака, хочешь...» Взглянула на брата и осеклась – такими вдруг злыми сделались его глаза.

«Неблагодарный»

Сначала пространная цитата.

«Надо четко разделять два понятия – “глава” и “деспот”.

Чем они отличаются? Кратко можно сказать так: глава – отвечает за все, что происходит, и виноват во всем. А деспот, наоборот, – ни за что не отвечает, и у него виноваты все вокруг. Если человек споткнулся, кто в этом виноват: голова или нога? Ясно, что голова. У нее есть глаза, которые должны смотреть под ноги на дорогу, у нее есть ум, который должен выбирать более безопасную дорогу. У нее есть уши, которые слушают, не едет ли рядом автомобиль. Вот муж и должен быть таким главой и отвечать за все».

Священник Илья Шугаев (р. в 1970 году)

– Закрой рот, женщина, – говорит один знакомый тиран (или все же глава?) – мужчина говорит!

– Здесь есть только одно мнение – мое, – говорит он же, – другое меня не интересует (это на работе).

– Да вы все вот здесь у меня должны стоять (хлопок по голени) – у левой ноги должны стоять, в рот глядеть, а я вас за стол не дозовусь. (День его небесного покровителя, семейное торжество.)

– Вы... долго еще меня нервировать... будете?!

– Я... всем покажу, кто в доме хозяин (так и сказал, прямо

классика какая-то), никому не дам сесть на голову!

– Представляешь, – говорит мне однажды доверительно, – сын не хочет со мной разговаривать... А ведь я отец ему! И в церковь не ходит уже полгода... Пропадет...

И смотрит на меня глазами обиженного пса, и руки пудовые бессильно свесил, и плечи – косая сажень – опустил...

И добавляет с невыразимой горечью:

– Неблагодарный!..

Любите нас, пока мы живы...

Радостное пасхальное утро. На душе блаженство: нынешней ночью воскрес Спаситель мира, и все беды и огорчения померкли, отошли в тень. И уже ничего не страшно, ничто не в силах омрачить сияние дня и острого ощущения вечной жизни.

Хлопочу над праздничным завтраком. Под окном останавливается нарядная оранжевая машина. Из нее выходит молодая семья... Вальяжно выбирается отец семейства, хлопотливо – молодая женщина, выкатывается сынок... И я узнаю Маринку! Беременную! Слышу, как мальчишка, пробежав по двору, колотит в дверь соседке и кричит «Ба-а! Ба-ба-а!!!» Представляю, как спешит из темноватых недр старой квартиры Лида, как расцветает навстречу внуку... И стоят на комодке на кружевной салфетке кулички, и яйца крашенные весело глядят с блюда...

Умиляюсь. И говорю мужу: «Ну что бы Лида делала, если бы не родила себе Маринку?..»

Муж издает сочувственное междометие, и я понимаю, что у него нет мнения по этому поводу. Вот и у меня. Потому что история эта непростая.

Лиде сейчас, наверное, уже, страшно сказать, за семьдесят. Ну как яркой блондинке может быть за семьдесят, не понимаю. Но по всему выходит, что так.

Мы всю жизнь живем в одном дворе. Я немножко дружила с Лидиной мамой. Ну, как дружила... Помню ее, рабу Божию Анастасию, только старой. Но живенькой, хоть и согбенной. Очень она на дочь свою Лиду обижалась. Та не особенно жаловала мать. Жизнь у Лиды – не сахар рафинад: сын у нее был – горе одно. Жилистый, верткий, с бегаящими глазами. Работать не хотел. Воровал. Вечные проблемы из-за него. А все равно жалко. У Виктории Токаревой даже книга такая есть, – «Сволочей тоже жалко» называется.

Баба Настя заходила ко мне жаловаться. На дочь, что завела себе женатого хахалю. На внука, что хамит и даже чуть не побил ее. «А я ж его на своих руках вырастила! На конфетной фабрике работала – скоко конфет ему перетаскала!.. А чистого сливочного масла?!»

Вот на ворованном сливочном масле и возросло горькое такое чадо – оторви да выбрось.

Иногда я купала бабу Настю – в их квартире не было ванны. Оттирала ороговевшую кожу с рук, спины, и плоть ее, казалось, готова была разползтись под руками от ветхости. Она походила на синюшного цыпленка, какими торговали в советские времена, – кожа да острые кости. Ей к тому времени было уж, наверное, восемьдесят с лишним. Сидя на стуле, баба Настя одевалась долго, с передышками. Чистенькая, хоть и латаная рубашка, панталоны, чулки в рубчик. Халат и теплая кофта. Платок вишневого цвета, шерстяной, побитый молью.

Лицо старушки розовело. Разомлевшая, сидела она у меня в кухне, довольно осматривалась, пила чай. И вынашивала, как выяснилось позже, некую мысль.

Однажды, после очередной домашней ссоры, она постучала клюкой в мою дверь. «Возьми меня к себе, – плаксиво сказала, едва забравшись на высокое крыльцо и притворив за собой дверь. – Я половину пенсии тебе буду отдавать!»

Как вам это понравится?

Как могла, я успокоила ее, сказала все слова, которые можно в такой ситуации сказать, но отказалась решительно. «Это ваша семья, надо терпеть». Легко сказать: терпеть! Раздавать советы, как известно, значительно легче, чем следовать им.

Но деваться было некуда. Так все и шло. Так они и жили – Лида с матерью да горькое ее непутевое чадо, от которого одни слезы. И вот однажды по весне я увидела у дверей Лидиной квартиры детскую коляску, а в ней дитя посапывает розовым носиком. Что за притча? Лиду я ни в чем таком не подозревала – она уж в годах, да и беременной ее не видела. Лида высокая, худая, с длиннющими ногами, всегда ярко накрашенная. Блондинка со взбитыми в пену волосами. Стареющая красавица.

Но позади зима. Холодное, темное время года, когда спешишь в тепло и проскакиваешь мимо удивительных событий и явлений. Вот и я проморгала Лидину беременность. Да она, понятно, и не афишировала ее.

Моя дочка, вместилище всех дворовых новостей, доложила, что тетя Лида родила девочку. Вот эту самую Марину.

«Как можно! – подумала я тогда, – родить от женатого мужчины!»

Была я в то время неофиткой и очень строго судила всех и вся.

Отец девочки еще какое-то время ставил машину, приметную такую, темно-изумрудного цвета, под моими окнами. Приезжал навестить дочку. Но потом исчез. Классика...

И стали они жить – сначала вчетвером. А потом убили Лидино сына. После очередной кражи. Трагедия. Похоронили его тихо, даже во двор из морга не привозили. Да и кто из соседей мог бы, положив руку на сердце, помянуть его добрым словом? Горе одно. Вот тут-то и стало понятно, для чего явилось на свет это чудо ясноглазое – Маринка. Веселая, музыкальная, с огромными, как у мамы, глазищами, она стала утешением двум женщинам в их неизбывном горе. Росла и росла. Училась. Подавала большие надежды в искусстве. Мама и бабушка надыхаться ею не могли. Но между собой они по-прежнему не ладили.

Баба Настя стерегла, когда я приду с работы, подзывала и совала в руки мятую записку да воровато вынутый из-под фартука баклажан – подарок. В записке – какое лекарство надо купить. Дочь, говорит, не хочет покупать капли, а я без них не могу, слепну. Помню, принесла бабе Насте эти капли. Она приняла их, как драгоценность, а потом схватила

мою руку и, прежде чем я успела отдернуть, поцеловала ее! Я была потрясена. И долго еще ходила с ощущением мягких, как у жеребенка, губ на своей руке. Господи, помилуй нас, грешных! Даже если человеку уже восемьдесят, он все равно страстно хочет видеть! И панически боится, что свет померкнет у него в глазах.

Опять и опять приносила баба Настя мне гостинцы – уворованные со стола дочери куски торта вперемешку с раскисшей салфеткой, яблоки, слипшиеся конфеты. И с надеждой смотрела снизу вверх, жалкая, согбенная, с выбившимися из-под косынки белоснежными прядями: ты ведь не бросишь меня?

Когда баба Настя появилась в последний раз, испуганная, она рассказала, что ее хотели убить. Не больше и не меньше. Кто? «Да Лидка с внучкой, кто ж еще... Да с хахалем её-ным».

Маринка к тому времени уж подросла. Стала с парнями встречаться. Понадобилось пространство. И старухе открытым текстом стали говорить, что зажила, мол, пора и честь знать. Но это, опять же, со слов бабы Насти. При мне Лида говорила о матери: «Пускай хоть до ста лет живет, мне чё, жалко...» И подкладывала, подкладывала ей на тарелку куски. Это на день рождения меня как-то звали, бабе Насте исполнилось на ту пору 90 лет. Мне идти не хотелось, знала, Лиде не нравится, что мать ко мне «шастает» да жалуется на нее, дочь свою.

Именинница, наряженная в теплую красную кофту, жадно и неряшливо ела торт и не слышала, о чем говорят за столом.

А потом явилась ко мне с этой ужасающей новостью: ее хотят убить. Ну и чего делать? Да и верить ли? Баба Настя часто говорила, что жизнь ей давно в тягость, что по всей ночи, бывало, молится, чтобы Господь прибрал. Уж и смерти не боится нимало. Но не от рук же единственной дочери погибать... И смотрит на меня жалобно бессмысленными от старости и страха, полуслепыми своими глазами.

Рассказывает, как было. Спать в ту ночь никто не ложился. Все колготились, переговаривались тихо, чтоб ей в задней комнате не слышно было. И погода за окнами под стать: ветер осенний воет, железо на крыше гремит. Стемнело рано. Ставни во всем доме закрыли. Никогда не закрывали. С чего бы это?

Жутко рабе Божией Анастасии. Кожей чувствует, что затевается что-то нехорошее. Но что? И озноб прошиб: да это ведь ее, старую, жизни хотят лишить! Ведь сколько раз попрекали, что, мол, зажила, смотреть тошно. «От тебя воняет! – кричала, бывало, подросшая внучка и нос зажимала, – надоела уже!»

«А ведь она мне открытки какие писала, когда училась в училище, вот, смотри: “дорогая моя, самая любимая бабуля...”» – и баба Настя вынимает из кармана и кладет передо мной вверх ногами замызганную открытку, что «внука» прислала когда-то, в нежном возрасте, когда «в разум» еще не

вошла. И спрашивает горестно: «Неужели от меня воняет?»

Я осторожно тяну носом и прячу глаза. «А дальше что было?»

«Ну, просидела это я всю ночь на стуле. Сердце колотится. Прислушиваюсь. Маринка за стеной не спит, видно, меня стережет. А Лидка с хахалем туда-сюда снуют. Да обронили раз что-то тяжелое. Уж не топор ли?.. Я с жизнью стала прощаться... Сижу, молюсь, да уж скорей бы, сил никаких нет...

Я ведь не умереть боюсь. Я, грех сказать, укакаться боюсь перед смертью. Подругу мою хоронили, так невестка страшно ругалась, что прибираться за покойницей пришлось. Уж и так костерила ее, свекровку свою, и эдак, да при ней же, при покойнице. И людей не постеснялась, что помянуть пришли. Стыд какой...» – баба Настя вытирает глаза скомканным грязным платком, промокает каплю, что поминутно виснет на носу. Прячет платок в карман.

«И чем же дело кончилось?»

«А ничем. Светать стало. Ставни щелястые, я и увидела. Но как ни силилась, больше не слышала ничего. Не решились что ли?.. Може, на другой раз отложили?..»

«Да что-о вы-ы, – с горячностью тяну я, – да вам показалось! Чтобы Лида такое задумала, да никогда не поверю!!!» – уже кричу на ухо старушке, видя, как мучительно старается она меня услышать.

Бр-р, ужас какой! Такое навоображала! Мне вот тоже кажется временами, что директор на меня дуется, уволить хо-

чет. А после выясняется, что у него было простое несварение желудка, или что с женой поругался, или голова болела – да мало ли что! А я, глупая, на себя все перевозжу, переживаю.

Но память услужливо выдает рассказ мужа, как в его родной деревне старушку уморили. Тоже решили, что зажилась мать. Заперли ее в холодной комнате и есть-пить перестали давать. Очевидцы вспоминают, как же она, бедная, кричала! Несколько дней, может, даже целую неделю. А после хоронили как ни в чем не бывало.

«И что же, все об этом знали?!» – спрашиваю возмущенно у мужа.

«Догадывались...»

«И ничего не предприняли?!»

«А что тут можно сделать? Попробуй, докажи. Чужая семья потемки...»

Это была последняя встреча с моей старушкой. После ужмы не виделись. То есть я видела ее, но в узком окне их веранды, которое выходит в общий двор. Баба Настя больше не выходила на улицу, видно, сидела взаперти. Завидев меня, она махала сухонькими бледными ручками и, как рыба в аквариуме, беззвучно открывала рот. А я? Что делала я? Старалась проскользнуть незаметно и загодя для этого вынимала из сумки ключи.

А потом баба Настя умерла. Я узнала об этом, когда Лида принесла поминальный гостинец – конфеты и печенье. «Отмучилась» – сказала я от сердца. «Да пусть жила бы еще, ни-

кому же ж не мешала» – вяло, будто меня, да и себя тоже в чем-то убеждая, сказала Лида и горестно скривила накрашенный рот. «Да что ты, – возразила я, – хорошо же пожила, 92 года, слава Богу, куда ж еще мучиться!» Мне совершенно искренне хотелось ее утешить. Да и не верила я, что Лида, сама уже старуха почти, собиралась поднять руку на мать. Нет, не верила. А вот то, что на душе у нее скверно, было совершенно очевидно.

Мы же угрызаем и угрызаем друг друга безжалостно, так, будто собираемся жить на земле вечно, и будто не придется за все отвечать перед Творцом. А ведь Он грозно предупреждал через пророка: *Кто злословит отца своего и свою мать, того светильник погаснет среди глубокой тьмы* (Притч. 20:20).

Подумать только, *«светильник погаснет среди глубокой тьмы»...*

И вот близкий умирает, уходит в недосыгаемые дали, и становится бесконечно спокойным и отстраненным его лицо. И мы с ужасом и поздним раскаянием думаем о том, что натворили. И поворотить бы время вспять, да невозможно... Недаром же у поэта вырвался из груди вопль: «Любите нас, пока мы живы!»

Мы с Лидой помолчали. Я спросила, как баба Настя умерла, не мучилась ли.

«А на унитазе померла. Она ведь все обгадиться боялась, да что мы ругаться будем на нее, мертвую. Будто мы звери

какие-нибудь... Ну, и шарашилась до последнего, все в туалет рвалась. Падает, а идет. Посадили на унитаз живую, а сняли уж мертвую... Такие вот дела...»

Да-а, дела...

Маринка вскоре замуж вышла.

Муж ее Лиде не нравился, «... пигмей какой-то... Маринка ведь, сама знаешь, красавица!» И лицо Лиды, морщинистое сильно накрашенное лицо распрямлялось, разглаживалось, словно хотела она на себе показать, какая именно красавица ее дочь.

Но красавица выбрала сама и, кажется, удачно, потому что молодые жили меж собой дружно и, что важно, старухи-матери не чурались. Стали Лиду на море возить, да и просто в гости наезжать. Машину завели скромную, но вполне приличную. Родили Лиде внука, славного малыша. И совсем недавно купили эту вот оранжевую спортивную машину. Да плюс к тому еще и Маринка, как говорили в старину, засобиралась за дочкой, то есть снова сделалась беременна.

Куда как хорошо.

Вот и думаю я, а ну как не согрешила бы Лида тогда, не родила бы на излете бабьих лет Маринку, что бы делать стала? Сына похоронила. Мать похоронила. Так и сидела бы в своей ветхой, полутемной, сырой квартире одна-одинешенька?

Нет ответа. Да и неблагодарное это дело – исследовать пути Господни.

Виснет на шее бабушки внучок; заходит в дом осторожно, срок-то уже большой, дочка; ставит на стол торт зять – вот и слава Богу, вот и хорошо. Господь милует, а нам-то чего же? Только радоваться да Бога славить, неисследимое Его милосердие к нам, грешным, бесконечное Его долготерпение, неопишемую, непостижимую, драгоценную Его любовь.

Тяжелое родительское слово

При Петро-Павловском кафедральном соборе Симферополя много лет читала неусыпаемую Псалтирь смиренная старушка с удивительно светлыми и добрыми глазами. Она охотно подменяла тех, кто занемог. Особенно любила читать Псалтирь ночью. И с ней не страшно было в темном храме, когда вздрагиваешь от каждого шороха, когда всюду мерещатся шаги и тяжкие чьи-то вздохи.

История ее ужасна. Был у женщины единственный сын, любимый, воспитанный в трудное послевоенное время. Муж погиб, и сын стал для одинокой женщины светом в окне. Но была у нее нелепая такая присказка: «чтоб ты сгорел». И вот однажды ждала она сына с работы. Дважды подогрела ужин, а когда он явился, с досадой набросилась на него: «Чтоб ты сгорел! Ну сколько можно ждать?!»

На следующий день сын сгорел. Что-то там случилось на работе...

Можно понять горе матери, потерявшей единственного сына. Но никаких слов не хватит, чтобы описать отчаяние матери, погубившей любимого сына безумными своими словами. А ведь она ему, проклятию этому, и значения-то не придавала...

И еще одна история. Менее печальная, но не менее поучительная. Елена К. провожала свою дочь за границу. «Как ты

решилась единственную дочь отпустить от себя, да еще и так далеко!» – говорили ей. А она уже хотела, чтобы дочь уехала, так намучилась с ней. Три года та не работала. Закончила школу, строила планы, а тут грянул развал страны. В вуз поступить не получилось, работы не было и для специалистов, где уж тут девчонке устроиться. Вот и колесили они большой компанией по Крыму, путешествовали автостопом, вваливаясь по очереди то к одним родителям, то к другим. «На эту страну мы работать не будем!» – заявляли родителям.

И вот образовалась возможность уехать за границу.

«Ну, теперь ты будешь так пахать, что отработаешь все эти три года, что болталась без дела», – жестко сказала, уже в аэропорту, Елена. Сказала с такой силой, что самой стало не по себе. И дочь поежилась.

Не три, а целых шесть лет дочь работала так тяжело, так надрывно, что говорила с матерью по телефону слабым, угасающим голосом. А у матери сердце кровью обливалось.

Но прошло шесть лет – и все как могучей чьей-то рукой отвело.

Предложили дочери другую работу, прекрасную, творческую, где она и процвела. Вышла замуж, родила сына, и настала для нее совершенно другая жизнь. Правда, и молилась за нее мать усердно, понимая, как тяжело легло на судьбу дочери материнское ее слово.

И еще о родительском слове. Родился в состоятельной семье мальчишечка. Славный такой, забавный, говорливый.

Все к папе приставал: «А почему это... а почему то?..» А папа, он семью кормит, человек занятой, бизнесмен. И, усталый, говорил частенько сыну: «Отстань, сынок, не до тебя сейчас!»... «Отстань, дай по телефону спокойно поговорить»... «Отстань...» «Отстань...»

И вот однажды собрались гости, шумные, нарядные, ребенка совсем затискали: «А кто у нас тут такой хорошенький, иди на ручки. Как тебя зовут?» А мальчик вполне серьезно и говорит: «Отстань... Отстань меня зовут». «Ашотик, Ашот, что ты говоришь?» – смутился отец и обнял единственного своего сына, и прижал его к груди с болью и раскаянием.

Закончить хотелось бы советом святых отцов. Если случится в сердцах выругать ребенка, сказать ему слово тяжкое – тут же нужно взмолиться ко Господу, попросить прощения, покаяться за тяжкий грех. И при первой же возможности пойти в храм, исповедаться, попросить у Господа силы обуздывать гнев и гордыню.

И смилуется Господь, и покроет любовью Своею великой безумные слова, и останется чадо ваше невредимым.

Свирепый

*Я не знаю ни одного безупречного человека.
Я знаю только ущербных людей, которых
все еще стоит любить.*

Джон Грин, писатель

Директор у нас свирепый. Он знает об этом. Знает и смиряется. Мы все тоже, разумеется, знаем. Знаем – и не упускаем возможности напомнить ему об этом. Напомнить с обидою, с видом оскорбленной добродетели.

Директор не оправдывается. «Я – человек грешный», – говорит с убежденностью и крестится размашисто и покаянно. А мы долго потом судачим в том смысле, что с таким свирепым директором уж непременно спасемся, непременно. Венцы заслуженные примем и в Царстве Божием угнездимся по праву. А вот спасется ли директор – вопрос. Он-то, конечно, несмотря на свирепость, жалостливый. Всех-то ему надо накормить. Бездомные к нему ходят. Кассирша ругается: «Не напасешься на вас, шалопаев, работать бы лучше шли!»

«Шалопаи» помаргивают белесыми ресницами на синих лицах и нетерпеливо переминаются. «Ну ладно, ладно», – примирительно говорит директор и велит выдать 100, или 500, или 2 тысячи рублей – в зависимости от обстоятельств. Кассирша, поджав тонкие губы, выдает. Но долго потом вор-

чит себе под нос «лучше бы то...», «лучше бы это...», «лучше бы зарплату нам поднял». А свирепый директор привычно парирует, что мы, мол, и так у него счастливые – сыты, одеты-обуты.

Да, это так. Трапезная у нас во внутреннем дворике построена – по самому последнему слову, со стеклопакетами, вытяжкой и микроволновкой. И обои красивые, на манер сакфьяновых, чтобы уютненько было. Любит директор, чтобы непременно уютно да просторно было. Сам он большой, размах рук у него будь здоров, вот и любит простор.

И мы, конечно, рады. Здание у нас новое, светлое, с чудесными интерьерами, мебелью по индивидуальным заказам.

Кухня, опять же, обеды. Только вот кухарка... Она ничего, чисто плотная, ответственная. Но масло дешевое покупает. И сардельки. Долго не работала, бедствовала, вот и привыкла экономить.

Стали роптать. Стали угрызать кухарку. А она безответная, только улыбается – защита у нее такая что ли? Все время улыбается.

Директор хоть и свирепый, а недоумевает: «Чем вам Варвара не угодила?» – и руку большую и теплую ей на загривок кладет – есть у него такая привычка. Варвара враз хорошеет, залившись румянцем. Млеет под директорским крылышком. А когда спохватывается и уходит на кухню, оставив после себя вкусный запах жареного лука, мы жалуемся на Варварину прижимистость и дешевые сардельки.

«Вот прикрою кухню совсем, будете тогда знать», – говорит директор беззлобно. Но перемещает со временем Варвару в торговый зал. А на ее место буквально врывается новая кухарка – беженка из Донецка. Это вихрь. Ну, о беженцах следует либо хорошо говорить, либо никак, потому описывать ее я здесь не берусь, а только скажу, что ее мы тоже сожрали.

Тут уж директор нас совсем не понял. Да и как понять: дончанка та – бабенка сбитенькая, крепкая, ноги у нее литые, глаз хитрый, огнем горит. Кастрюлями гремит энергично, а как поступь директорскую слышит – «Царю Небесный...» громко затягивает.

Но тут уж жена директорова не стерпела. Исчезла из кухни дончанка.

Третья (и последняя) кухарка была безупречна. Готовила изумительно. Стол сервировала с большим тщанием. И – никаких сарделек, только свежеприготовленное мясо красных сортов. Но характер!..

Это, наверное, как с замужеством: первый муж, говорят в народе, от Бога дается, второй – от людей, а третий – от дьявола.

Вкусная та еда столь обильно была приправлена злобными инсинуациями на отсутствующих товарищей по работе, что мы не стерпели. Ну конечно. «Лучше кусок сухого хлеба, и с ним мир, нежели дом, полный заколотого скота, с раздором» (17:1) – сказано в Книге притч.

В корзину с картошкой была подброшена глумливая записка, скорее, рисунок, очень выразительный. Авторство установили быстро, да он и не отпирался. Кухарка дико обиделась. Не вышла на работу. И все. Стало прямо по слову святых отцов: «...кусок сухого хлеба, и с ним – мир». И никаких заколотых скотов.

Стих звон посуды на кухне, перестали просачиваться в библиотеку аппетитные запахи. Пусто и холодно стало в трапезной.

Обедая из домашних баночек, с грустью вспоминали мы блюда, которые особенно удавались Варваре. Предавались приятным воспоминаниям. Анализировали. Каялись. И по всему выходило, что лучшей была Варвара. Она и бомжей больше всех жалела. Миловала. Знала их поименно и накормить получше старалась.

Директор же наш еще и бомжей подкармливал. Приходили они в обеденное время, звонили в узорчатую калитку, что ведет во внутренний дворик, сообщали, сколько их сегодня, и кухарка на подносе выносила еду – такие себе запорожцы. Это в Украине так называли тех, кто не приглашен на свадьбу, но кому выносят выпить-закусить за порог.

Выпить, конечно, нет, но еду выносили регулярно, даже и сам директор не гнушался. Возьмет, бывало, поднос и несет, смешно семеня длинными ногами, чтобы чай не разлить.

А бомжи уж сидят в тени под деревом в общем дворе, смотрят жадно, как голодные галчата. (Это образ такой лите-

ратурный, в большой степени отвлеченный, – ну кто теперь из нас, горожан, знает, как выглядят галчата?)

И лечил бомжей, что охотно прибивались к нему. И при-страивал куда-нибудь в монастыри, унижаясь перед начальством и обещая кормить-поить своих подопечных. И хоро-нил их, если надо.

А еще, одевшись представительно, ходил в присутствен-ные места, к власть предержащим – просить, чтобы помогли организовать ночлежку. «Зима же впереди, они ж погибнут все!.. У меня там такие ребята, жалко же их! Один – поэт, другой – отличник, с медалью школу закончил. Все – сироты! У них мошенники квартиры отжали, вот они и оказались на улице. А один кредит в банке взял, да бизнес у него прогорел, на улице парень оказался – хороший парень!..» И за-глядывал, заглядывал в сухие чиновничьи глаза.

А свирепость? Ну да, есть несколько слов, которые момен-тально выводят его из равновесия. Сталин, например. Подо-нок и душегуб. А его нынче чуть ли не в герои – войну, мол, выиграл. Вот тут уж директор буквально взвивается. Криком кричит. И с цифрами и фактами пытается доказать, что не может быть национальным героем субъект, вырезавший цвет нации, весь генофонд огромной страны. И долго, долго бу-шует, даже и с «картинками». И за сердце хватается.

Или вот еще не любит, когда хвалят его. День рождения. Народищу полон зал. Стол сервирован с размахом. Выбор блюд и спиртного неопиcуемый. Первый тост, второй. Ну,

третий. Он уже морщится и глаза в сторону недовольно скашивает. А потом срывается. И тогда уж гости, так неосмотрительно проливавшие елей, узнают его совершенно с новой стороны. Говорят, в последний раз и посуда со стола летела. Мы-то, тертые калачи, исчезаем при первых же признаках грозы.

А потом наступает пора покаяния. Для нас блаженная. И очень уж трудно тут не воспользоваться моментом, не принять вид оскорбленной добродетели...

Ранняя осень. Окна открыты. Слышу со двора нежно-переливчатое «гули-гули-гули...». Свешиваюсь из окна второго этажа. А это директор, – как всегда, в крахмально-свежей рубашке и безупречной обуви, – подманивает воробышек. Они прилетели виноград клевать, да испуганной стайкой шарахнулись при его появлении. «Гули-гули-гули», – воркует директор, а потом все еще полным нежности голосом велит дворнику снять весь виноград и забросить его на крышу трапезной. «Птички будут прилетать сюда и кушать виноград», – говорит он, и лицо его так и светится счастьем.

«*Блажен, иже скоты милует*», – растроганно вспоминаю я слова притчи.

И тут же вполне прозаично думаю о том, что, может, и нас помилует да возьмет наконец кухарку в трапезную. Чем мы, в самом деле, хуже скотов?

Шура

В последнее время мы с мужем, что называется, «взрываем зону комфорта» – пытаемся поместить себя в далекую степную деревню, в отчий дом мужа. Там нет городской суеты, там задумчиво шумят гигантские деревья, солнце садится в розовые облака, а воздух тих и свеж. Там хорошо. Но я не об этом.

Едем мы однажды в электричке, прикидываем, на какое дело набросимся прежде всего по приезде. Дом старый, и дел так много, что мы с мужем похудели и уже почти перестали спать, обдумывая, как все лучше устроить. Конечно, деревня и только деревня – предмет наших разговоров. А тут Шура. Смотрит радостно ясными своими светлыми глазами, думает, наверное, вот удача – вместе ехать веселее! Подсаживается к нам по-простому, заводит разговор. Она глуховата, но поговорить любит.

Шура – прихожанка нашего храма, и мы с мужем знаем ее давно.

Всякий раз, встречая ее, мы понимающе переглядываемся: ай да Шура! Дело в том, что мы уж было похоронили ее. Много лет назад, лет десять, наверное, обнаружили у Шуры опухоль. Работала она в православном киоске при больнице. Быстро установили, что опухоль злокачественная. И анализы уже ну очень плохие. «Сгорает человек», – говорили меж-

ду собой гардеробщица и кастелянша, которые дружили со словоохотливой, неунывающей Шурой и видели ее анализы с высоким СОЭ и низким гемоглобином.

Но не такой Шура человек, чтобы унывать. Что она делает ввиду таких прискорбных обстоятельств? Она увольняется из своего киоска и начинает действовать – ездить по святым местам.

Я пришла работать вместо нее, и потому именно меня чаще всего спрашивали, как там Шура. Я качала осуждающе головой. Был уже назначен день операции. Настоятель храма выделил средства. А Шура взяла деньги да и махнула в Дивеево. И окуналась, окуналась в купели, просила-молила отвести беду – очень уж боялась операции. Было ей в ту пору более семидесяти годочков.

«Ну как можно! – негодовала я, сидя вечером за ужином. – Да ведь святые отцы благословляют лечиться, а не уклоняться от врачебной помощи. Это неправильно! Святые места святыми местами, но ведь и лечиться нужно!» И цитатой соответствующей подкрепляла эту свою тираду. Муж слушал молча, но, похоже, был со мною согласен. Он вообще считал, что, раз ты христианин, и заболел смертельно – умри молча, без жалоб. Вот такие мы с мужем «добрые». Хорошо, что Господь не таков.

Шура жила и жила, вопреки прогнозам. Встречая ее в храме, я справлялась о здоровье, прикидывая на глазок, сколько ж ей осталось жить. Но Шура жаловалась на дочку, на дав-

ление и плохую погоду. А потом рассказывала об очередном паломничестве, и глаза ее прямо-таки сияли. «Вам надо лечиться!» – строго говорила я, и Шура сникала. Операции она боялась и о болезни говорить не хотела. А только крепко верила, что исцелит ее Господь, Всеблагий и Всемиловитый.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.